

**Н О В Ы Й**

**М И Р**

**ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ**

**И**

**ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ**

**ж у р н а л**

**К Н И Г А**

**Д Е С Я Т А Я**

**О К Т Я Б Р Ь**

---

**М О С К В А**  
**1 9 2 8**

# СОДЕРЖАНИЕ

|   | Стр. |
|---|------|
| 1. Артем ВЕСЕЛЫЙ. — Жар-птица, из романа «Россия, кровью умытая». | 5    |
| 2. Леонид ЗАВАДОВСКИЙ.—Фантастические мечты, рассказ.             | 43   |
| 3. В. САЯНОВ.—О литературном герое, стихотворение                 | 76   |
| 4. Мих. ГЕРАСИМОВ.—На покосе, стихотворение.                      | 78   |
| 5. Б. ЛИПАТОВ.—Письмо в Америку, рассказ                          | 79   |
| 6. Евсей ЭРКИН. — Поэт, стихотворение                             | 96   |
| 7. Вл. ЛИДИН.—Ледники, рассказ                                    | 97   |
| 8. Н. ОГНЕВ.—Дневник Кости Рябцева, повесть, продолжение.         | 104  |
| 9. Н. УШАКОВ.—Легкая погода хороша, стихотворение.                | 132  |
| 10. П. ДРУЖИНИН.—Ветер, стихотворение.                            | 133  |
|   |      |
| 11. А. ВОРОНСКИЙ.—За живой и мертвой водой, продолжение.          | 134  |
| 12. OUTSIDER.—Пакт Келлога  | 166  |
| 13. Н. ВОЛКОВ.—30 лет Художественного театра.                     | 192  |
| 14. А. ВИШНЕВСКИЙ.—Как начинался МХАТ, из воспоминаний.           | 200  |
|   |      |
| ДОМА И ЗА ГРАНИЦЕЙ  |      |
| 15. Д. ГОРБОВ.—Леонид Леонов.                                     | 212  |
| 16. И. МАШБИЦ-ВЕРОВ. Михаил Шолохов.                              | 225  |
| 17. Я. ТУГЕНДХОЛЬД.—Парижская школа.                              | 236  |
| 18. Я. ФРИД.—Романизированные биографии.                          | 249  |
| 19. Фрол СКОБЕЕВ.—Литературный ларек                              | 251  |
| 20. Г. САНДОМИРСКИЙ.—Неугомонный Радич.                           | 254  |

## КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

|   |     |
|---|-----|
| Б. ГОРЕВ.—Ник. Морозов «Как я стал революционером» . . . . .                        | 266 |
| П. КИТАЙГОРОДСКИЙ.—А. Н. Гуковский «Французская интервенция на юге России». . . . . | 267 |
| А. ДИВИЛЬКОВСКИЙ.—А. Н. Вознесенский «Москва в 1917 г.» . . . .                     | 267 |
| Р. КОВНАТОР.—З. Боярская «Женщина под гнетом капитала». . . . .                     | 268 |
| Д. ГОРБОВ.—«Печать и Революция», № 6 за 1928 г. . . . .                             | 269 |
| Б. АНИБАЛ.—Н. Баршев «Большие Пузырьки» . . . . .                                   | 270 |
| А. ШАФИР.—Д. Стонов «Люди и вещи». . . . .  | 271 |
| В. ГОЛЬЦЕВ.—Л. Пасынков «Атаман Серьга». . . . .                                    | 272 |
| М. РУДЕРМАН.—Дм. Четвериков «Заиграй овражки». . . . .                              | 272 |

# Жар-птица

(Из романа „Россия, кровью умытая“)

АРТЕМ ВЕСЕЛЫЙ

В России революция, вся - то Расеюшка  
огнем да кровью подплыла.

**О**фицер Корниловского полка Николай Кулагин вторую неделю лежал, точно прикованный к больничному матрацу, сквозь дыры которого сыпалась соломенная труха. Под головой — вещевого мешок с наганом и бельем, под боком — винтовка, к которой он успел так привыкнуть, что мигом отыскивал ее в темноте среди десятка чужих. Укрыт он был тяжелой, волглой еще после фронта кавалерийской шинелью. Греться приходилось кипятком и — привитая армией иллюзия — куревом.

Грязная, плохо отапливаемая палата была переполнена ранеными и обмороженными в последних боях за Новочеркасском.

Койка Николая помещалась около окна. Из щелей непромазанных рам тянуло гнилой февральской сыростью. Приподнявшись на локтях, он подолгу смотрел на улицу. Там, размахивая связками книг, бежали ученики; плелись сутулые извозчики; иногда, сотрясая стены домов, прокатывал полный вооруженных людей грузовик. Утомившись глядеть в окно, Николай откидывался на сбитую в блин соломенную подушку и в полузабытьи закрывал глаза. Вялые, в черных облупинах уши его обвисали, как тряпки, а обмороженные, мокнувшие под бинтом, ноги воняли тошнотной вонью. Ломота в костях не давала покоя ни днем, ни ночью.

Ростов доплясывал последние пляски. В городской думе кадеты, демократы и казацьи генералы договаривали громовые речи. Вечерние улицы кишели хохочущими офицерами, беззаботными чистяками и породистыми, благородных кровей, щеголихами. В источающих сияние ресторанах гуляли денежные тузы и столичная знать. Меж ними озабоченно шныряли, вынюхивая, где жареным пахнет, политические деятели. Вертелись тут, козыряя громкими именами, и члены госу-



дарственной думы, и разжалованные министры, и заправилы временного правительства, и прославленные террористы в роде Савинкова, и сиятельные владыки разгромленных департаментов, и мелкопоместные дворяне, и сановное духовенство, и шулера закрытых игорных притонов. Все они набежали на Дон после октябрьского поворота, намереваясь отсидеться за пиками казаков. Знатоки смрадных тайн охранки, и провидцы чудес господних, и умудренные в науках профессора, и, наконец, социалисты, до тонкости изучившие теории всяческих движений и брожений, наперебой предсказывали близкую и неизбежную гибель большевиков. На залитых вином столах писались декларации будущих правительств, вырабатывались смелые планы восстановления России, распределялись министерские портфели, заслуженные генералы получали назначения губернаторов в области, которые только еще намечались к очищению от мятежников. Пройдохи и себялюбцы паутиной плутовства оплетали глубоко преданных своим замыслам вождей—Алексеева и Корнилова... Тем временем неоправдавшие надежд казачьи полки расходились по хуторам и станицам, в донских степях истекала кровью и вымерзала белая Добровольческая армия и с севера—в грохоте пушек, в митинговых криках, с плясками и свистом—накатывались отряды фронтовиков, матросов и рабочие дружины.

На веселящийся город напускалась гроза грозная.

Лазарет охраняли гимназисты под начальством дряхлого полковника, которому больные дали прозвище «Это Самое». Старик, сменяя караулы, как добрый дух, обходил палаты и разносил утешительные вести. Ему хотя и не верили, но прихода его ждали с нетерпением.

Ранним утром лазаретники были разбужены раскатами недалеких пушечных выстрелов. Всех охватила тревога. Кто поздоровее, собрался было уже задавать лататы, когда в дверях появился полковник. Обдернув ветхий мундир, он отдельно и торжественно произнес:

— Господа, это самое, поздравляю.

Головы повернулись в его сторону. Тяжело раненые перестали стонать. Сосед Николая, усатый фельдфебель Крылов, замер с недочищенным сапогом на одной руке и со щеткой в другой. Старик, выждав томительную минуту, с важностью проговорил:

— Свежие новости... На Таганрогском и Черкасском участках фронта красные разбиты, это самое, вдребезги. Захвачены в плен четыре полка в полном составе, множество снаряжения...

— Ура! — слабым детским голосом крикнул стонавший ночи напролет семнадцатилетний кадет Юрий Чернявский.

Все поддались радостному настроению. Одни сели в постелях, другие спрыгнули с коек.

— Точны ли сведения, господин полковник?

— Почему молчат газеты?

— Что за стрельба слышалась на рассвете?

— Экое дело стрельба, — хитро улыбнулся полковник. — Восстали, батенька мой, станицы нижних округов. Казачку, это самое, за ум взялись, громят большевиков и пробиваются на соединение с нашими частями... По городу дезертиров ловим, бандитов бьем, вот вам и стрельба, хе-хе... Верьте мне, старику, я, это самое, приукрашивать не стану. — Шаркая стоптанными сапогами, он прошел в соседнюю палату.

— Ага! — заговорил, прыгая на костылях, подпоручик Лебедев, — а я что вчера говорил?

— Умерьте пыл, подпоручик, — угрюмо сказал нагонявший на всех уныние своей мрачностью жандармский ротмистр Топтыгин: — вполне разделяя ваш патриотический восторг, я все же должен сказать, что ликовать нам, по меньшей мере, преждевременно.

— Почему, позвольте узнать?

— Анархия, не забывайте, молодой человек, вовлекла в свой дьявольский круговорот миллионы потерявших человеческий образ, осатаневших людей, а идея национального освобождения, как бы она ни была прекрасна, вряд ли найдет в наше подлое время много сторонников, готовых рискнуть головами... Вешать супостатов без милости.

Лебедев, подхватив костыли, подсел к ротмистру и с пылом принялся развивать перед ним свои взгляды на спасение родины. Топтыгин слушал его, покручивая пушистый ус. Изредка он ввертывал полные житейской мудрости замечания, от которых палата покатывалась с хохоту.

За общим столом, отодвинув игральную доску, спорили заядлые шахматисты — пехотный прапорщик Сагайдаров и завитой, надутый корнет Поплавский. Все уже знали, что прапорщик убежденный эсер. Его проповеди и сам он всем давно надоел. Поплавский и играл-то с ним только потому, что не было другого партнера. Кроме того, ущемляя прапорщичье самолюбие, корнет развлекался. За неделю непрерывных сражений Сагайдаров не взял ни одной партии, хотя победа, как ему казалось, не раз клонилась на его сторону, но в последний момент ускользала из-за какого-нибудь досадного промаха.

Оба они отличались отменным красноречием.

Поплавский, не поднимая глаз от носка лакированного сапога и будучи уверенным, что его слушает вся благомыслящая Россия, говорил:

— ...Наша революция, заметьте, глубоко национальна, хотя бы по одному тому, что ко всему мы приходим задним умом, да-с, задним умом... Большевизм необходимо было задушить в зародыше, и теперь русские корпуса маршировали бы через Германию, но момент был упущен.

— Кем упущен? — спросил Сагайдаров, подаваясь вперед.

— Вами, разумеется. Пока ваш социалистический Бонапарт декламировал, большевизм распространился, как зараза, фронт рухнул, мы дожили до позора, когда всякий трус и негодяй, прикрываясь дема-

гогическими лозунгами, считает законным свое шкурничество... Да-с, драгоценный момент упущен.

Прапорщик, считая нестоящим занятием агитировать одного корнета, обращался ко всей палате:

— Поверьте, господа, оздоровление близко! Даю честное слово! Я знаю, я верю в мудрую душу русского народа и в его светлый ум. Лучший отбор солдат будет с нами. Казачество, в силу своих вековых традиций, тоже пойдет за нами. Рабочий класс и трудовое крестьянство, рано или поздно, но непременно, я подчеркиваю, непременно откачнутся от большевиков. И, наконец, не следует забывать носительницу лучших идеалов человечества, самоотверженную русскую интеллигенцию.

— Ох, уж эти мне ваши интеллигенты, — ввязался в разговор ротмистр, — мало я их вешал.

— То-есть, позвольте, как это вешал?

— Очень просто, сударь, за шею веревкой.—Он поднялся с койки и скрестил на увешанной медалями груди пухлые белые руки. — Где ваши земские деятели, защитники порядка и отечества? Куда подевались вольнодумствующие юристы и чиновники разных рангов? Стервецы! Вчера еще одни из них пресмыкались перед престолом, другие шептали под нос крамольщину, и все в два горла жрали куски правительственного пирога.

— Позвольте...

— Нет, уж вы, молодой человек, позвольте... Плохой у нас был император или хороший, — история рассудит, но ни один сукин сын не поднял руки в его защиту, ровно все они родились революционерами.

— Извиняюсь, — сказал прапорщик, — это вопрос принципиальный. Всенародное учредительное собрание, когда оно...

— Очень хорошо, — перебил его ротмистр, — миллионы своих голосов вы подали за учредительное собрание? Оно разогнано! Почему же ваша самоотверженная интеллигенция и светлоумный народ безмолвствуют? Разве родина не в пасти сатаны? Разве не грозит нам большевистское иго, еще более мрачное, чем татарщина, ежели вы, молодой человек, изволили изучать русскую историю? Не вы ли писали книги и целые десятилетия болтали о принципах? Грош цена и вам и принципам вашим! Вы — пыль!

— Странные, однако, у вас понятия, честное благородное слово.

— Все надоело, — сказал, зевая, Поплавский, — продолжать войну невыносимо. Россию может спасти или чудо, или хороший кнут, способный восстановить правопорядок. Вашей, прапорщик, народной мудрости пока хватает лишь на поджоги, разбой и разорение культурных очагов... Взять, к примеру, моего отца, — оживляясь, заговорил корнет. — Полный генерал, после японской войны вышел в отставку, никуда не выезжал, никого не задевал, спокойно доживал век в своем имении, и ничто, решительно ничто, кроме цветов, не



интересовало старика... Но, голубчик, какие он разводил розы, скажу я вам, уму непостижимо! Шотландские махровые, мускусные светло-голубые, белые, как пена кипящего молока, черные, как черт знает что, и всех возможных и невозможных цветов. О нашей оранжерее даже в заграничных журналах писали...

Усатый гимназист Петрикеев, обрадовавшись случаю блеснуть познаниями, крикнул из угла:

— Древний греческий поэт Анакреон сказал: «Розы — это радость и наслаждение богов и людей».

— Совершенно верно, — повернулся к гимназисту Поплавский, и, не обращая внимания на то, что многие засмеялись, он продолжал рассказывать, как мужики вырубали парк, разорили оранжерею и выгнали из родных палестин отца. — Скажите, кому мешали цветы? Я согласен с вами, ротмистр, лишь кнут и петля способны унять разгравшиеся страсти черни... Пусть с этим кнутом придут немцы, зуавы, кто угодно... Да-с, кто угодно.

— О, нет, — подскочил Сагайдаров, заливаясь румянцем, — русский народ выстрадал свою свободу и никому ее не отдаст. На позоре военных неудач России не возродить. Немцы питают к нам не только культурное, но и расовое отвращение. К тому же, в случае бесславной сдачи, мы лишимся поддержки европейской и американской демократии. Кайзер заставит нас чистить свои сапоги, честное слово. Нет и нет! Во имя всего святого мы должны поднять меч, может быть, в последний раз!

— Чушь, — ответил корнет, — России нужна, в крайнем случае, конституционная монархия, а всю вашу азиатскую свободу смести к чорту огнем и мечом.

— Ах, так? Вы — русский офицер? Стыдитесь!

— Не кричите, прапорщик, это показывает ваше дурное воспитание. — Корнет повернулся и, насвистывая, отошел к окну.

— Перестаньте, господа, довольно политики, — крикнул Лебедев, — скоро всем нам придется не здесь, а там, в чистом поле, разрешать более непосредственные задачи.

Поплавский среди разношерстной лазаретной публики чувствовал себя одиноким. Войну он прослужил в Персии при штабе экспедиционного корпуса генерала Баратова. Революция забросила его в чужой город, где не было ни связей, ни пристанищ. Не торопясь попасть на фронт гражданской войны, жалуясь на головные боли и на старые где-то и когда-то полученные контузии, он кочевал из лазарета в лазарет.

С кем был Николай Кулагин?

Барбосистый ротмистр в счет не шел. Некоторые мысли Сагайдарова казались Николаю здоровыми, но он не мог перебороть в себе неприязни к прапорщику, дубоватое лицо которого было полно скрытого лукавства, а мигающие, в белых ресницах, глаза не смотрели на человека прямо. Возмущали и наглый тон, и беспринципность Поплавского. Николай вообще недолюбливал штабных ловчил. Разве можно

было забыть Могилев?.. Пятнадцатый год, патриотический под'ем всей великой страны, стоверстные позиции под Варшавой, окопы, доверху заваленные изуродованными трупами... Лучшие кадровые корпуса безропотно гибнут в Августовских лесах и своими костями мостят болота... В полку весь низший и командный состав выбит на 90 процентов. («Вечная память», — шепчет Николай, и поблекшие образы соратников, как в дыму, проплывают перед ним.) С жалкими остатками полка, оборванный и очумевший от потрясений, Николай пробирается в тыл на переформирование, и вот, в Могилеве впервые довелось увидеть штабных офицеров большого штаба, — они были затянуты в корсеты, покрашены и завиты, как проститутки. И сейчас, взглядывая на румяное, холеное лицо корнета, он улавливал в нем какое-то сходство с могилевскими фазанами.

Николай, как и большинство кадровых офицеров, плохо разбирался в политике и гордился тем, что в свое время его учили воевать, а не рассуждать. Тяготы позиционной жизни он переносил мужественно: в голову была крепко вколочена мысль о необходимости страшной войны, успешное завершение которой выводило Россию на блистательный путь могущества, цивилизации и культуры. Революция опрокинула все понятия об отечестве и долге. Из подброшенной ему в землянку газетки Николай вычитал, что солдатам война не нужна, а начальники являются врагами народа и защитниками интересов буржуазии и отрекшегося царя. Первая весна революции пролетела в угаре митинговщины и все возрастающего озлобления. Вколоченная палками в спину безответного русского солдата дисциплина рухнула сразу. Командир со страхом и омерзением наблюдал своих солдат и не узнавал полка. После провала июльского наступления армия начала расплываться. Николай бежит в тыл и по дороге — вновь надежды воспрянули — пристает к корпусу генерала Крымова, который двигался на Петроград свергать временное правительство. Но... «в силу создавшихся обстоятельств» корпусной застрелился, а офицеры, прибыв в Петроград, встали на защиту временного правительства от большевиков. Дни, прожитые Николаем в семье, промелькнули, как хороший сон: слезы, поцелуи, бесконечные расспросы, ватрушки с любимым клубничным вареньем, опять слезы и расспросы. Буря — с грозой и ливнем — разворачивалась во-всю. Увлеченный товарищами по службе, Николай с жаром бросается в битву, участвует в защите юнкерского Владимирского училища, потом мчится в Москву, дерется на кремлевских баррикадах и, после поражения, с пушечным гулом в ушах, скатывается на Дон...

— Чорт побери, — сияя глазами, говорит кадет Чернявский, — как я хотел бы сегодня же выздороветь, быть в походе со своим отрядом, а то проваляешься тут, ничего не увидишь, тем временем и война может окончиться... Господин капитан, — обратился он к Николаю, прерывая его раздумье, — как, по-вашему, пасху встречать будем у себя?

— Да, да, Юрик, разговляться будем дома... Куличи свяченые, пасха... С барышнями христоваться пойдём, яиц крашенных нам с тобой надарят.

— Каникулы, — мечтательно прошептал кадет, перебирая в памяти былые радости, — на каникулы я уезжал к тете на пчельник в Смоленскую губернию... Там такие чудесные леса... Иногда старший брат водил меня с собою на охоту.

— У тебя и брат есть?

— Был брат... И папа был... В Киеве убили, — глухо ответил кадет и отвернулся к стене.

Около двери на койке, подобрав под себя ноги, сидел студент Васильченко. Точно кудахтая, он истерически выкрикивал:

— Немо лево... фланг... фланг... фланг...

Васильченко был ранен в голову шрапнельной пулей. Он никого не узнавал, забыл все слова. Иногда на него находило оцепенение, целыми часами сидел без движения и молчал, как бы что-то обдумывая... Иногда начинал иступленно кружиться на месте...

— Немо лево... лево... лево... фланг!.. — это были обрывки последней команды, слышанной им перед ранением. Боясь испугать, его осторожно валили в постель и держали, пока не кончался припадок.

Санитары внесли в палату и уложили на свободную койку молодого добровольца с университетским значком на гимнастерке.

Его мгновенно обступили.

— Откуда? Какой части?

— Не знаете ли случайно, где находится 2-й батальон?

— Далеко ли фронт?

— Тише, тише, господа.

— Я — чернецовец, — через силу ответил прибывший, — наш отряд разгромлен, командир зарублен, все гибнет.

— Боже, правда ли?

— А казаки?

— Слухи...

— Конечно, неправда, — крикнул Поплавский, — вздорные слухи!

— Слухи распространяют бабы и мерзавцы, — вполголоса, чтоб не слышал раненый, сказал Поплавскому Топтыгин. — Стрелять их всех поголовно, вешать, не жалея веревок.

— Помилуйте, ротмистр, я допускаю возможность перестрелять и перевешать всех мерзавцев, но... баб, баб?

— Вы меня не поняли, я — ха-ха-ха! — сам не против баб!

— Нет, не слухи, — с трудом проговорил чернецовец, — красные наступают по всему фронту... Кутеповым оставлен Матвеев курган... Забастовщики захватили Таганрог... Части генерала Черепова и Корниловский полк отходят от Синявской и не нынче — завтра будут в городе. Потери огромны... Лучшие гибнут, сволочь дезертирует... Дезертирами дереполнены штабы, улицы, кафе, миллиардные... —



Он закашлялся, схватился за грудь и выхаркнул шматок загустевшей черной крови.

Все, притихнув, разошлись.

— Если это правда, — сказал волнуясь Поплавский, — то единственный выход — забаррикадировать двери и защищаться до последней возможности.

Ему никто не ответил.

Стремительная мысль Николая захлестывалась на вопросах: «Гибель? Отступление? Куда отступить? Успеют вывезти или в спешке забудут? Нет, лучше своя пуля из своего нагана».

Ночью опять слышалась орудийная пальба. По темным улицам, тревожно завывая, мыкались храпящие автомобили, и, точно пересмеиваясь, цокали о камни мостовой подковы. Никто не сомкнул глаз. Каждый про себя выискивал пути к спасению. Убежал из лазарета гимназист Петрикеев. Поплавский, бросив свою щегольскую и подцепив чью-то рваную шинелишку, тоже скрылся. К утру, выкрикивая в бреду имя сестры, любовницы или невесты, умер чернецовец. Заспанные санитары уволокли окоченевшее тело. Над пустой койкой на гвозде осталась забытая папаха.

За мутным стеклом светлело небо.

Николай подтянулся на локтях к окну. Восходящее солнце розоватым холодным светом касалось церковных куполов и мотавшихся на ветру голых, точно черной судорогой сведенных, ветвей одинокой березы. Притихший город лежал серой немой громадой... Неожиданно из-за угла вывернулся отряд. Николай сразу узнал своих корниловцев. Они шли быстрым шагом, почти бежали. Их было так мало, что у него сжалось сердце: «Господи, неужели это все, что осталось от полка?» — подумал он и, высадив кулаком стекло, высунулся наружу:

— Казик! Володя!

Головы вскинулись, его узнали и, приветствуя, замахали рукавичками, фуражками.

Через минуту, гремя тяжелыми сапогами и прикладами, в палату вбежали двое — румяный Володя и закадычный друг Николая, Казимир, с которым судьба свела его еще на германском фронте. Оба расцеловались с Николаем, после чего, повернувшись ко всем, Казимир крикнул:

— Господа, прошу не волноваться. Сложившаяся обстановка вынуждает нас покинуть город, но вы забыты не будете. Тех, кто может ходить, заберем с собой, остальные будут размещены в городе по надежным квартирам.

Тягостное молчание, растерянные лица...

— Но куда, куда отступить?

— Здоровые всем были нужны, а теперь, как бездомных собак, на улицу...

— Даете ли вы слово, поручик?

Казимир составил каблуки, поднял голову и, четко рубя слова, сказал:

— Да! Если о вас забудет начальство, то мы сами, ваши товарищи, сделаем все, что нужно. Даю слово русского офицера. — Он сдернул перчатку и торжественно принял под козырек.

Затем, отвечая на-ходу и на все стороны, они убежали.

Николая била нервная дрожь... «Уши, чорт с ними, но вот ноги, подведут или нет? Неужели нельзя будет притвориться выздоравливающим? Уж если и умереть, так в походе, в кругу друзей».

Дохнула паника.

Тяжело больные заметались и застонали. Ротмистр, сопя, затягивал ремни огромного чемодана. Иные рылись в мешках и переодевались по-дорожному; иные, сбившись у окон, обсуждали ход военных действий и спорили, не слушая друг друга. Сагайдаров критиковал тактику командования, порицал политику донского правительства и все надежды возлагал на близкое отрезвление крестьянства.

Не смеющий вмешиваться в разговоры начальства фельдфебель Крылов набрался храбрости и спросил:

— Ваше благородие, господин прапорщик, а правду ли болтают, будто Корнилов с Алексеевым никак не могут поладить?

— Правда.

— Понять невозможно, — сказал фельдфебель, — первеющие головы и на тебе...

Прапорщик хотя и сам слышал о размолвке вождей краем уха, но с готовностью принялся объяснять:

— Дело простое, каждый из генералов метит в главнокомандующие. С одной стороны, Алексеев считает, что он имеет больше законных оснований: он — любимец и правая рука царя, он и в чинах старше, у него и опыт обширнее; с другой стороны...

— Не слушай его, Крылов, — вступился Николай, — прапорщик сам ни бельмеса не понимает. Оба генерала желают России только счастья. Ни тот, ни другой власти лично для себя не домогается. Но пути к восстановлению порядка у них разны, вот тут-то и заговоздка. Около Алексеева вьются высшие чины штаба, отъявленные старорежимники и гвардейская аристократия. С ними он намерен сломить революцию. Наш Корнилов не таков. Он возлагает надежды на кадровое офицерство, на верных долгу солдат, на казачество. Мы любим командующего за то, что в бою он всегда с нами, на дневке одинаково внимателен к нуждам каждого из нас, строг, но справедлив в требованиях и, потом, у него блестящее прошлое.

— Однако прошлое остается прошлым, — заметил Сагайдаров, — а настоящее более, чем плачевно...

— Будь вы, прапорщик, на месте командующего, мы не сомневаемся, что все сложилось бы иначе, — с'язвил Топтыгин и, ухватившись за бока, злобно захохотал.

Кадет, с головой закрывшись одеялом, плакал. Около него суетились.



— Юринька, как не стыдно? Ну, голубчик, успокойся... Разве ж мы тебя бросим? Скоро пригонят подводы, всех нас заберут и увезут отсюда.

Кто-то поднес кадету разбавленного спирта. После недолгого колебания он залпом опорожнил кружку, задохнулся, закашлялся и, вытерев кулаком слезы, понемногу успокоился.

Стрельба в городе усиливалась. Среди лазаретников росло беспокойство. Многие уже оделись и сидели на мешках с винтовками в руках.

Николай поднялся... Суставы ног разнимало ломотою, в самых костях мозг и тот мозжал. Превозмогая боль, как на рассохах, он прошел по палате, потом пристроился на койку и занялся перевязкой. Сагайдаров посоветовал присыпать мокнущее мясо сахарным песком, что, по его уверениям, способствовало более быстрому нарощению новой кожи. Корниловец, сцепив зубы, сорвал с лоскутками кожи заскоружные бинты, развязал вещевой мешок, выбрал из белья, что поветше, и, надрвав длинных лент, накрепко обмотал ноги.

— Едут! — крикнул в палату дежуривший на лестнице подпоручик Лебедев.

Все засуетились.

В дверях с узелком в руке появился запыхавшийся полковник:

— Господа, это самое, пора... пора!

У под'езда мобилизованные извозчики ругались с конвойными. Робеющие гимназистки жались поближе к выходу. Они держали перед собой, как свечи, букетики первых ландышей и фиалок. На ступеньках сидела, приложив к глазам платок, и ждала кого-то старушка—кружевная накладка ее с'ехала на сторону, а седая голова сотрясалась от рыданий.

Зарывшись на возу в солому, убаюканный скрипом колес, Николай проспал весь ночной переезд и не слышал ни стрельбы, ни взрывов бомб, сбрасываемых с большевистского аэроплана. Разбудил его собачий брех. Обоз втягивался в станицу Ольгинскую.

В глаза прянуло солнце.

Унавоженные дороги еще крепко лежали в снегах, хотя колдобины уже были налиты, точно зыбким пламенем, рстопельной водой. С крыш разорванной серебряной ниткой сверкала частая капель. Со-сульки блестели под солнцем, как штыки. Отовсюду сочилась и дышала благодатью доблестная весна.

Воз, на котором сидел Николай, свернул во двор. В воротах, встречая гостей, стоял на вытяжку одетый в парадную форму пожилой казак.

— Здорово, хозяин!

— Здравия желаем, ваш-бродь! — увидев полковничьи погоны, гаркнул он с таким старанием, что лошади шарахнулись, а на базу загоготали гуси.

Позади самого на дистанцию в три шага кланялись и скороговоркой сыпали приветствия принаряженные бабы.

В чистой, по-городскому обставленной хате грудастая казачка угощала офицеров варениками и жареными в сметане карасями. Хозяин, из почтения к гостям, стоял у порога. Для порядка он покрикивал на бабу и, перехватывая из руки в руку шапку, выпрашивал, кто такие кадеты <sup>1)</sup>, за кого они воюют и куда изволят отступить.

Ротмистр, избегая иностранных выражений и упирая больше на поущение господне, терпеливо раз'яснял политические премудрости. Растолковав вкратце программу какой-нибудь партии, он добавлял, как припев к песне: «Вешать супостатов, вешать, не жалея веревок».

Николай побрился, умылся снеговой водой и, держась за стены, вышел на крыльцо.

Широкая улица и площадь были заставлены войсками. Щегольской сапог месил слякоть рядом с опорком. Донские партизаны, выпустив из-под собачьих малахаев чубы, топтались вперемежку с оборванными офицерами. Возмужавшие в походах гимназисты выпячивали груди и с полным сознанием превосходства косили глаза в сторону очкастых, сутулящихся студентов. Не достающие носами до штыков кадеты досрочных выпусков подтягивались и соперничали выправкой со старшими. Щебечущие ласточки гроздьями обвешивали телеграфную проволоку. Скакали готовые разорваться от усердия ординарцы. Перегоняемые с места на место люди в лад отбивали ногу и размахивали руками вперед до пряжки и назад до отказа.

— Ать, два, три... Ать, два, три...

Через дорогу, подобрав полы, перебежал Казимир.

— Здравствуй, Коля. Увидел тебя и на минутку, с разрешения взводного, отлучился из строя. Как твои дела?

— Да так, — улыбнулся Николай, — на солнышке греюсь и почти улыбаюсь.

— Мы с Володькой утром искали тебя, но не нашли. Сыт?

— Напоен, накормлен и обласкан. Где Володя?

— Ушел в заставу.

— Знаешь, Казик, раздобудь-ка мне костыли... Ноги маячить начинают. Через неделю думаю в строй.

— Браво.

— Когда выступаем?

— Как-будто завтра. В штабе уже решено пустить авангардом марковцев и арьергардом нас. Закупаем продукты и строевых лошадей. Канальи казаки дерут за своих кляч втридорога, и ничего не поделаешь, приходится платить. Командование, дабы не ссориться со станичниками, строгойше запретило реквизиции.

— Тяжелая, но совершенно необходимая мера, — сказал Николай, — будем надеяться, что через этот камень большевики спотыкнутся и восстаноят против себя и казаков, и крестьян.

— Эврика, чуть не забыл!.. Вчера у захваченного солдата отобран протокол собрания какой-то захудалой команды. «Хорошо обсудив последний декрет совета народных комиссаров, мы считаем таковой

<sup>1)</sup> Кадетами, как известно, по всему югу России звали белых.

декрет справедливым, о чем и постановляем известить срочной телеграммой Ленина и Троцкого».

Оба рассмеялись.

Успевший всюду побывать Казимир с жаром принялся рассказывать штабные и полковые новости.

— Велика ли у нас армия? — спросил Николай.

— Свыше четырех тысяч штыков и сабель. Пехота сведена в полки — Корниловский, Марковский и Партизанский. В особые единицы выделен инженерный батальон, морская рота жидочка Баткина и мелкие воинствующие отряды, ультимативно заявившие о своей... автономности.

Николай выругался.

— Увы, — продолжал Казимир, — разговоры о прекрасном остаются разговорами, а игра мелких самолюбий в полном разгаре. Зараза самостийности проникла и в наши ряды. Откуда что берется. Подумай только, юнкера и студенты противились объединению и едва не перепороли друг друга штыками.

— Удивительно... Чего не могут поделить наши мушкетеры?

— Юнкера ругают студентов социалистами, а студенты юнкеров — монархистами. Те и другие домогались иметь своего начальника, свой отдел снабжения, свой обоз, и, наконец, чорт побери, каждый из юнцов не прочь бы прикомандировать себе по милосердной сестричке, которых и так мало. Нам самим ухаживать не за кем.

— Скажи, есть интересные?

— О-о! Я познакомился с одной толстушкой, так это, доложу я тебе, штука! Правда, она не красавица, но...

— Погоняй ее с недельку на корде — станет красавицей.

— Кроме шуток, замечательная девушка... Ручки, ножки, щечки, и через каждые два-три слова носом шмыгает.

— Ха-ха-ха. Я восхищен твоими описаниями... Познакомишь?

— С удовольствием. Сегодня же приглашу сделать тебе перевязку.

— Отлично.

— Да, так вот я и говорю, каковы негодяи... Социалисты, монархисты, нашли время политикой заниматься.

— Пустяки, какие они политики. В походе сживутся.

— Возмутителен сам факт. В иной обстановке Корнилов попросту приказал бы кое-кого посадить в карцер, кое-кого выпороть и дело с концом, а тут, извольте, митинг открыли.— На исхудавшем, обветренном лице Казимира глаза сверкали гневом. Фуражка со сломанным лаковым козырьком сбилась на затылок.

— Гражданская война, — задумчиво сказал Николай, — полна нелепостей и чудес. У красных сапожники командуют армиями, а у нас на взводах стоят полковники и генералы.

— За богом молитва, за родиной служба не пропадет. Погоди, развернемся. Сегодня Лавр Георгиевич перед строем произнес блестя-

щую речь. «Нас разбили на Дону,—сказал он,—но игра еще не проиграна. Большевики с'едят сами себя. Нам необходимо продержаться до наступления отрезвления, и Россия еще услышит о наших делах». Мы были в бешеном восторге и до хрипоты кричали «ура»... Ну, я, кажется, заболтался с тобой, побегу...

— Не забудь костыли и... толстушку.

— Будь покоен. — Он подвернул полы шинели и по сверкающим лужам зашагал к своей роте.

На листах курительной бумаги Николай написал в Петроград два письма:

Милая мамочка.

Прошу прощения, что так долго не давал знать о себе. В октябре, уезжая в Москву, я обещал скоро вернуться и не сдержал обещания. Подумай, мог ли я укрыться под твоим крылышком, когда кругом творится столько мерзостей?

Я жив, здоров.

Был немного простужен, повалялся в лазарете, вчера выписался и вернулся в полк. Пишу из станицы, из-под Ростова. Боев пока нет. Большевики грабят по железным дорогам, а к нам в степи и носу боятся показывать.

Обо мне, мамуся, не беспокойся. Летом всей семьей отправимся отдыхать куда-нибудь к чухонцам в деревню.

Все это, разумеется, очень тяжело... Лучше бы вот сейчас сидеть мне с тобой и с Ириночкой за чайным столом и слушать, как за окном бушуют метельные февральские ветра.

Поймешь ли и простишь ли ты меня, мама, за все причиняемые тебе страдания?

Вся Россия несет возложенный на нее судьбою крест. Пятый год воюем. Под каждой крышей — горе, и почти в каждой русской семье — покойник. Со мной в лазарете лежал раненый кадет. Большевики убили у него брата и отца. Участь мальчика особенно трогала меня. Сколько их, еще совсем детей, погибло с нами в донских степях, сколько затоптано безвестных могил.

Ты подумай, мамочка, как прекрасно сказал генерал Алексеев в Новочеркасске на похоронах кадетов: «Я поставил бы им памятник—разоренное орлиное гнездо, и в нем трупы птенцов,— на памятнике написал бы: «Орлята умерли, защищая родное гнездо, где же были орлы?»».

Крепко целую и обнимаю

Николай.

P. S. Следующее письмо напишу при первой возможности, но не огорчайся, если долго не получишь его. Установить живую связь чрезвычайно трудно, о почте и думать нечего.

Будь здорова, мамуся, и надейся на всеблагого, — без его воли ни один волос не упадет с моей головы.



Здравствуй, Ириночка.

Здравствуй, милый мой хохленок, целую твою русую головку и голубые глаза.

Сажу на резном крыльце, жмурюсь на солнце, мечтаю о тебе и о маме...

Тоска косматой лапой сжимает сердце... Какая злая сила исковеркала жизнь и разметала нас?

На фронте я простудился и обморозился. Думал, что схватил воспаление легких. Опасность миновала, я возвращаюсь в полк.

Начистоту говоря, положение наше весьма затруднительно. Два месяца мы отбивались от солдатчины и матросов и теперь вынуждены отступать. Причин тому множество. Наши тылы беспрерывно тревожили рабочие восстания, надежды на всенародное ополчение не оправдались, атаманы потеряли власть над казачьей массой точно так же, как мы потеряли власть над солдатами.

Уходим за Дон, в степи.

Щади маму, она ничего не должна знать. Милая мамочка... На ее глазах, должно быть, не высыхают слезы... В своей полутемной комнатке перед старыми иконами она вымаливает мне жизнь.

Уходим в неведомое.

Мы одиноки.

Россия гибнет. Народ, обуреваемый низменными инстинктами, воспринял революцию, как захват чужого добра и всеобщий раздел. Буржуазия дрожит за свою шкуру, и, боже, как слепы денежные воротилы! В Ростове они пожертвовали на добровольческую армию гроши, а на смену нам в город пришли большевики и, вероятно, загребли их миллионы. Социалисты травят нас, как врагов народа.

Каково наше политическое credo?

Никто ни черта не понимает, и все обозлены. Ярко проглядывает лишь полный отрыв от общероссийских идей.

На Дону мы, русские офицеры, защищаем самостоятельность края и пытаемся не допустить его разорения, а само казачество и не чешется. Много наших офицеров служит в украинских национальных частях, уже тем самым поддерживая нелепую и дикую самостийность. Или чего стоит Кубань, куда мы, вероятнее всего, пойдём? В Екатеринодаре главные силы штабс-капитана Покровского составляет русское офицерство. Покровский же потворствует низменным проискам самостийной рады.

Все, чем жив человек, растоптано и заплевано.

Россия представляется мне горящим ярмарочным балаганом, или, вернее, об'ятым пламенем сумасшедшим домом, в котором вопли гибнущих мешаются с диким свистом и безумным хохотом бесноватых.

Повторяю, никто ничего не понимает.

Мы не политики, а всего-на-всего лишь сыны своего отечества и солдаты черного лихолетья... Жизнь, видимо, заставит разобрататься кое в чем, но учиться придется уже под огнем.

Мы одиноки... Призрак России, светлый, как утренняя заря, витает над нами и укрепляет твердость сердец наших.

Верим в помощь бога и в светлый ум вождей!

Целую и обнимаю

Брат.

Курганы первыми освободились из белого плена. Одряхлевшие снега, заливаясь мертвенной синевой, сползали в овраги, где и гибли, сраженные гремучими ручьями. На обсохшие головы курганов все чаще и чаще опускались отдыхать жаворонки — отважные разведчики грядущего тепла. На межах в трепете распрямлялись голые былинки. Зверюшки, вырвавшись из черной неволи, грелись около нор.

Зимобойные ветра ватагами отправлялись в дальние походы.

Зима, напрягая силы, еще оборонялась. По ночам она облетала повитую тревожными снами землю и строила козни: где морозный узор наведет на окно, где подсушит лужицу, где закует во льды зажорину, где частым инеем усыпет поле, тут заметет снегом крепко уснувшую собаку, там студеным дыханием остановит бег ручья... Но лишь проблеснет заря, едва только брызнут искры рассвета, как седовласая злодейка без оглядки пускается в бегство, а вдогонку ей несутся птичьи высвисты, горланят петухи, и солнце мечет блещущие копыя.

Когда же над преющей землею, сияя, взвились цветы, когда, сбросив ледяные шкуры, дрогнули под первой рябью реки, — зима отступила в горы на коренное становище... Взметывая стужу со дна ущелий, срывая сверкающие снега с заоблачных высот, окруженная преданными полчищами мутных воющих метелей, зима бросалась в битву на равнины, и тут, под ударами ветров-зимогонов, бесславно гибла разорванная в клочья и пену хладная сила.

Жирноземная красавица-степь, покорно раскинувшись, ждала пахаря. Над степью, охраняя ее покой, мчались, подобны голубеющему потоку, ветра-зимоломы.

Первые сто верст армия покрыла в неделю. Быстрому передвижению мешали распутица и большой обоз с беженцами и ранеными.

Вымотанные лошади, утопая в грязи по брюхо, вытягивались в нитку. Телеги и брички плыли по жиже, как лодки. Люди, расстроив всякий порядок, брели молча. Слышались только устрашающие крики ездových и свист кнутов. Кадеты и гимназисты перегибались под тяжестью винтовок, но старались не выказывать друг перед другом утомления. Престарелые полковники шагали в строю, бодро разгребая ногами море жидкой грязи. Молодая женщина, потеряв в чавкающей грязи туфли и высоко подобрав юбки, шла в одних чулках. Светлые

волосы ее были спутаны и падали на глаза, а раскрасневшееся, заплаканное лицо жалостливо улыбалось. Пугаясь орудийных выстрелов, она обращалась к неотступно следующему за ней верхом ротмистру Топтыгину:

— Скажите, мы разобьем их?

— Всенепременнейше, сударыня,—улыбался ротмистр, крутил усьи, перегнувшись из седла, что-то объяснял женщине.

В высоком фаэтоне ехал с сыном седой генерал Алексеев, еще недавно управлявший судьбами пятнадцатимиллионной русской армии. Форменная фуражка его была нахлобучена по самые уши, из-под захватанного козырька строго поблескивали очки, от резких толчков на иссохшей старческой шее моталась голова.

Обочиной дороги, подбадривая войска, проносился на кабардинском скакуне Корнилов. Калмыковатое лицо его было сурово. Повелительный с хрипотцой голос и приветствия выкрикивал, как приказания. Вскинутую голову крыла текинская черная папаха. Одет он был в заношенный нагольный полушубок. На командующего устремлялись восторженные глаза, и вослед ему гремело надсадное «ура».

Отряды красных уклонялись от решительного боя и лишь налетами беспокоили противника.

В обозе ползали обильно питаемые паникой разжиревшие слухи. Частой ружейной трескотне внимали трепетные беженцы, из которых каждый был знаменитостью или состоял в близком родстве со знаменитостью. Социалисты разных толков восседали на чемоданах и вели нескончаемые споры. Председатель государственной думы Родзянко суковатой палкой колотил по костлявому задку взмыленную лошаденку и делился с любезными слушателями воспоминаниями. Закутанные в меха барыньки стрекотали, как сороки. Профессора коротали досуг в тихих беседах, полных горестных размышлений. Над раскрытыми ларцами со снедью сидели, не смыкая чавкающих ртов, отощавшие помещики: всей своей требухой чуя еще большие невзгоды, они торопились насытиться про запас, чтоб в крутую минуту было чем и прожитую жизнь вспомнить. Доверенный царя небесного, затканый седым пухом, преподобный о. Серафим взирал на все творящееся, как сыч на солнце. Весьма известный журналист Борис Суворин не терял времени попусту и заносил в дневник дорожные впечатления, подслушанные разговоры, заметки о казачьем быте и все это обильно уснащал рассуждениями, полными бурных огорчений.

Сердца знаменитых стыли в страхе за свою и за Россиину судьбу.

В Ставрополье, под селом Лежанкой, произошло первое крупное столкновение. Белые, потеряв в бою троих убитых и семнадцать раненых, ворвались в село, где и рассказали до шестисот человек.

Расправу чинили все желающие, а таковых нашлось немало. Казаки воспользовались случаем и свели с мужиками старые счеты. Офицеры мстили за поруганное звание, за честь мундира и за анархию, бессильными свидетелями которой они являлись уже целый год. Раз-



горяченные боем, раздумывавшиеся юноши были уверены, что, расстреливая и вешая людей в кожухах и солдатских шинелях, они спасают родину. Одним хотелось испробовать действие новеньких, еще не пристрелянных винтовок; другие под руководством туземцев на поставленных на колени жертвах практиковались в рубке; побывавшие в донских степях были рады легкости победы, — вернувшись домой, будет что порассказать...

Николай в сражении не участвовал. Ноги его обрастали новой розоватой кожей, костыли он бросил, но ходил еще плохо.

На квартире за ужином Казимир с восторгом рассказывал о подробностях боя — кто где наступал, какие части отличились, кто и к каким представлен наградам.

Внимательно слушая его, Николай невольно выпалил:

— Какая гадость...

Офицер замолк на полуслове и с удивлением посмотрел на друга.

— Казнить, — продолжал Николай, — такую массу пленных, к тому же еще они и русские. Неужели невозможно было ограничиться расстрелом главарей, агитаторов или, наконец, каждого десятого?

— Чорта с два, братику! Попробуй разберись, кто у них начальник и кто подчиненный. Все нечесаные, распоясанные, босая команда какая-то. Сегодня он кашевар, а завтра командир. Для верности мы их и стреляли под ряд, как вальдшнепов.

— Знаете, господа, — боясь, что его не будут слушать, торопливо заговорил Сагайдаров, — у них каким-то фронтом командует бывший казачий фельдшер Сорокин, честное слово. Каково? Или вчера под Егорлыкской лично я сам, своими руками, захватил комиссара, который оказался самым настоящим каторжником, честное благородное слово!

— Не в каторжниках дело, прапорщик, — оборвал его Николай, — вы городите вздор!

Поднялся захмелевший Володя и, бессмысленно улыбаясь, потянулся чокаться.

— Перестань, Коля, сентиментальничать и не горячись попусту... К матери в штаны всю философию... Будем уничтожать хамов! Они нам мешают жить, лишают нас возможности любить женщин и славить солнце... Меня в Саратове невеста ждет... Ну и должен же кто-нибудь спасти Россию? Время слов минуло, настала пора великих дел. Выпьем за поэзию и за мою невесту...

— Я понимаю, — волнуясь, проговорил Николай, — но нужно ни капельки не любить страну, чтобы клеймить весь народ клеймом каторжника.

— Понимаешь, а канючишь, — сердито отозвался Казимир, — что ж, прикажешь их с собой возить или, выпоров, отпустить, чтобы завтра опять с ними встретиться? Ты забыл о самосудах, чинимых над офицерами? Забыл об издевательствах, которые каждому из нас приходилось переносить на фронте? А наши близкие, оставшиеся в Рос-



сии? Разве комиссары будут с ними церемониться? Попадись мы с тобой к ним в лапы, думаешь, они пощадят нас? Ты забыл станицу Каменскую, где матросы предали наших разведчиков лютой и ужасной казни — им прибили погоны к плечам вершковыми гвоздями. Пощады нет, мы идем ва-банк!

Подавленный Николай молчал, а офицеры наперебой начали вспоминать недавние, один кошмарнее другого, факты.

— Перестаньте,—попросил он, содрогаясь, и закурил папиросу. Руки его дрожали. — Ну, а что же командование?

— Командование сделало вид, что ничего не замечает.

— Да, — энергично сказал Казимир, наполняя рюмку коньяком, — верхушка дворянства и буржуазия своей преступной бездеятельностью предали Корнилова во время августовского выступления. Верным России осталось лишь кадровое офицерство. На нас история ставит главную ставку. И потом,—он повернулся в угол, где сидели, наострив уши, кадеты,—эта молодежь! Ее нужно воспитать в нашем духе. Худшие из них пошли на сделку с совестью и малодушно остались наслаждаться теплом и уютом. Лучшие закалятся в боях и пойдут с нами до конечной цели. Выпьемте, господа офицеры, за торжество нашего правого дела, за молодежь и, пожалуй, за твою, Володя, невесту!

Ужин продолжался.

Николай вышел.

Весенняя ночь сияла особенным теплым сиянием, сладко пахло прелым навозом, в саду на голых тополях табором располагались на ночлег грачи.

Над селом стлалась тревожная тишина, нарушаемая сонным ржанием лошади, эхом выстрела или глухим, словно из-под земли рвущимся, рыданием солдатки, оплакивающей мужа.

У ворот на бревне сидел, опираясь подбородком о палку, оборванный мужик.

Николай подсел и предложил папиросу.

— Благодарствую, не потребляем.

Долго молчали.

— Ты казак или иногородний? — спросил офицер, желая завязать разговор.

— В работниках.

На все вопросы он отвечал с неохотой. Николаю стало скучно, он поднялся, чтобы итти, когда тот неожиданно спросил:

— Та-ак, значит, за царя воюете?

Застигнутый врасплох, Николай не знал, что ответить... С образом государя неразрывно было связано понятие о величии отечества, но монархистом Николай, как и большинство неаристократического офицерства, никогда не был, что, впрочем, не мешало этим вольномыслам в силу дисциплины выступать на подавление крамольников. Слабый царь, загнавший страну в тупик поражений, голода и анар-

хии, с некоторых пор в глазах офицерства начал терять свое обаяние.

— Нет, не за царя,—твердо ответил он.

— А чего у вас порядки старые?.. Флаг царский носите?

— Старое знамя дорого нам, как символ единой мощной России,—заученно сказал офицер и, спохватившись, захотел поправиться,—старое знамя дорого, как имя, данное при крещении, как материнское благословение... Понимаешь?

— Понимаю.

— Ничего ты, дядя, не понимаешь,—с горечью закричал он и вскочил,—скажу проще, если бы к вам в деревню забежал волк, вы бы стали его бить?

— Обязательно.

— Ну, вот, а большевики — те же волки.

— Пстой, ваше благородие, какие мы волки, мы народ смирный.

— Я не про крестьян говорю, а про большевиков, которые на митингах горланят, на разбой подзуживают.

— Вышло хомут да дышло.—Мужик зло рассмеялся и сказал:—Целите в коршуньев, да бьете серых ворон.

— Не подвертывайся.

— Как тут упасешься, такая кругом смута.—Работник покосился на собеседника и нерешительно спросил:—Наши хуторские именишко тут растащили и землишку бросовую запахали,—судом теперь судить их будете или как?

— Никак. Нагрянут вот немцы и заберут нас всех со всем — с землю, со вшами, с лаптями.

— На што мы им нужны?

— Воду на нас, дураках, возить будут.

— Эээ... Мы, ваше благородие, хлеба сожрем больше, чем наработаем. Расея, она вона какая... чудная.

Николай рассмеялся, а мужик рассказал:

— Отец мой, покойник, коновалом первеющей статьи слыл и к винцу слабость имел. Сгорели мы раз, сгорели два, хозяйство порушилось, матушка, царство ей небесное, преставилась в одночасье. Надел батя сумку через плечо, меня, мальчонку по восьмому годичку, за руку взял, и побрели мы потихоньку, кормясь где Христовым именем, где работенкой. Так, без скривища, без бывища, и пробродяжничал я до парней, пока батюшку на Иркутской ярманке купцы не опоили. Проводил я отцов гроб, не одну сиротску слезу глотнул, утерся и пошел, куда глаза манили. Может, тыщу городов прошел, деревень — несчетно, народов сколько перевидал, и кругом тебе Расея, и кругом тебе, не обессудь на моем глупом слове, один пашет, а семеро ему шею гложут. Нонче, ваше благородие, не только немец, сам нечистый из-под мужика землю не выдерет, мы в нее по саму бороду вросли. Придут немцы—возврату им не будет, по одному пёредушим, мы им...

— Погоди. У тебя у самого-то ведь никакой земли нет?

— Дадут, — убежденно сказал мужик, — и наша копейка не щербата. Общество обещает вырезать полный надел. Я тут невдалеке на хуторе и вдову себе высмотрел. Пожили по-старинке, почудили, нонче хочется пожить по-новинке. Может, еще чуднее будет, а все-таки хочется. — Он помолчал и вздохнул. — Ваш генерал, с вот такими печеньями на плечах, перед сходом высказывал: «Воюем, мол, за веру, за отечество, за счастье». Какое там счастье, простой народ бьете, вон висят...

На площади, в неверном лунном свете, подобны бледным теням, серели повешенные.

Проговорили за полночь. Офицер чувствовал себя перед мужиком в чем-то виноватым, но не хотел даже сам себе в этом сознаться и ушел, томимый тоской.

В хате было душно.

На печи возилась и стонала старуха-хозяйка. В лунном луче, падающем в маленькое слуховое оконце, ее плачущие глаза вспыхивали зеленым огнем. При ней во дворе были расстреляны два ее сына-солдата. Снох не было дома, они разыскивали за селом на навозных кучах тела мужей. Николая пугал шопот старухи. «Что она, молится или проклинает?».

В окнах забрезжил рассвет. На улице горнист заиграл зорю.

Партизанский отряд матроса Рогачева замирил восставших казаков Ейского отдела и возвращался ко дворам. Дотошные разведчики пронюхали, что в недалекой станице, в старой казенке хранятся запасы водки.

Весть мигом облетела ночевавший в степи отряд.

Самовольно собрался митинг.

Рогачев, гарцуя на коне в гуще партизан, кричал:

— Ребята, контрики подсовывают нам отраву! Долой белокопытых! Напьемся — быть нам перебитыми! Не напьемся — завтра будем дома! Кто за бутылку готов продать совесть и свою драгоценную жизнь? Долой прихлебывателей царизма! Я, ваш выборный командир, приказываю не поддаваться на провокацию! Казенку надо сжечь, водку выпустить в речку!

— Правильно, — подпрыгнул корноухий вихрастый мальчишка и завертелся на одной ноге.

— Неправильно, — отозвался другой партизан, — чего же ее жечь, не керосин.

— Спалить, таку-сяку мать! — взвизгнул пулеметчик Титька.

— Жалко, братцы.

— Яд, — убежденно сказал подслеповатый старичишка Евсей. — Сорок лет пью и чувствую — яд.

— Ха-ха-ха... Поднести тебе, поди не откажешься?

— И не погляжу, голубь. Время не такое, эдака кругом страсть.

— Комиссары сами пьянствуют, а нас одерживают. Суки!

— Верно. Ты, Рогач, на себя оглянись!

Рогачев, происходивший из крестьян станицы Старо-Щербиновской, действительно прославился по всей Тамани не только беспримерной храбростью, но и разгулом.

— Братцы, — обрадовавшись догадке, заговорил рассудительный печник Нестеренко, — как мы с победой и как мы сознательные, то должны, ее, эту треклятую зелью, разбавить водой, шгоб не так в голову ударяла, и с криком «ура» выпить всю до капли.

— Совесть ваша, дядечка, серая, — с сожалением глядя на Нестеренко, сказал вихрастый мальчишка.

Приподнятый над кучкой хуторян рябоватый матрос Васька Галаган махнул шапкой:

— Уважаемые, и чего такое вы раскудахтались? Дело яснее плещи. Забрать водку — раз, выдать по бутылке на рыло — два, остатки продать и разделить деньги поровну... Тут и всей нашей смуте крышка. Прошу поднять руки...

Предложение показалось настолько пленительным, что сразу вскинулись сотни три тяжелых, неразгибающихся рук.

Командиру удалось настоять лишь на том, чтоб не ходить в станицу всем табуном. Были поданы подводы. Выбранные от рот делегаты, возглавляемые каптенармусом, двинулись в поход.

В томительном ожидании прошел и час, и два — посылы не возвращались. На выручку была послана конная разведка. Разведчики, божась страшными божбами, ускакали и тоже пропали.

Солнце покатилося за полдень.

Партизаны загалдели:

— Делегаты называются... Выглохтят все сами.

— Известно, темный народ.

— Товарищи, а не пахнет ли тут изменой? Может быть, их там перебили давно, а мы тут воежим?

К возу Рогачева подходили все новые и новые партии, требуя отправки.

Трубач проиграл сбор.

Отряд построился и, выставив охранение, в полном боевом порядке двинулся к станице.

В станице перед казенкой гудела тысячная толпа. В помещении перепившиеся делегаты горланили песни и плясали гопака. Из распахнутых на улицу окон производилась дешевая распродажа водки. Партизаны всю дорогу уговаривались бить своих выборных, но, дорвавшись до цели, забыли уговор и, сшибая друг друга, кинулись к ящикам.

Гульнули на славу.

... Горе подружило Максима с Васькой Галаганом.

Проснулся Максим первым — его испугала тишина, — схватился за пояс: кобуры с наганом не было. Он огляделся... Просторная гор-



лица, в окнах зелень и солнце, на столе острыми огнями искрился пустой графин. Рядом, локоть в локоть, спал матрос.

— Э, слышь-ка, — принялся он его расталкивать, — слышь-ка, морячок!

— А! — открыл тот затекшие мутные глаза и сел. — Ты чего?

— Где мы?

— Где ж нам быть, как не у попа?

— У меня наган сперли.

— А? Какой наган? — Матрос цоп, лап: кольта не было. —

О, курвы, и у меня срезали!

Дверь скрипнула. В горницу заглянул поп.

— Самоварчик прикажете?

— Где наши? — грозно спросил моряк, спрыгнув с постели и встав в боевую позу.

— Ушли.

— Почему не доложил, лярва?

— Будил, не добудился.

— Давно выступили?

— На заре.

— Куда затырил наши самопалы?

— Не ведаю.

— Врешь! Вынь да выложь. — Васька уцепил его за бороду. — А также где мой карабин?

— Не ведаю, — еще смиреннее ответил поп, стараясь высвободить бороду. — Вы вчера пришли ко мне пеши и безоружны, из карманов одни бутылки торчали.

— Это хохлы хапнули, больше некому, — сказал Максим. — Они тут свой отряд собирают, а оружия нехваток. Беда, с голыми руками остались, пропадем ни за понюх табаку.

Васька выдернул из-за голенища бомбу:

— Есть одна.

— Мало.

— Мало? — матрос свистнул. — Да я тебе с этой самой штукой любой кубанский город завоюю. Лошади есть? — повернулся он к попу. — За лошадей мы заплатим.

— И рад бы услужить, да нету. Жена с работником на хутор за рассадой уехала.

Босая девка внесла кипящий самовар.

— Долой! — приказал матрос — Некогда чайничать. Прощай, батя, молись угодникам за доброту нашу.

Безоружные партизаны прошли из конца в конец всю улицу в поисках подводы, но подводы им никто не дал. Изрыгая складную, как псалмы, ругань, они покурили за околицей, переобулись, и бодро зашагали по пыльной дороге.

Под солнцем курилась степь, свистали суслики, дремали курганы, омываемые полынными ветрами.

— Переложил, — поморщился моряк, — брюхо крутит и крутит.

— С перепоя, — знающе сказал Максим. — На кружку кипятку намешай горсть золы и выпей, первое средство.

— Надо попробовать, а то несет меня, как волка. Вскакиваю ночью, сортир не знаю где, забегаю в чулан, вижу на гвозде поповы праздничные сапоги висят... Ну, в один я напорол с верхом, а в другой не хватило.

Оба заржали так, что пахавший за версту сохарь остановил лошадь и перекрестился.

Подошли, поздоровались.

— Будь добрым человеком, дай воды.

— Угорели? Пойдемте на стан, угощу.

Черные земляные волны катились по распаханной полосе. Кося умным глазом, важно расхаживали грачи и выклевывали из борозды жирных червей. На стану, спрятавшись от жары под телегу, пуская сладкую слюну, спала дряхлая репьястая собака.

— Што за люди будете и далече ль путь держите? — спросил мужик, оглядывая гостей.

— От полка отстали, — сказал Максим. — Не видал, не проезжали?

— Какой, дозвоьте узнать, партии будете? По разговору, похоже, свои — кубанцы?

— Мы — свои в доску, — ответил матрос. — У меня отец кубанец, дед кубанец, и сам я тут в окрестностях безвыездно сорок лет живу.

— Та-ак... Полка не видал, а банда у нас гуляет.

— Где?

— Вон, хуторок. Вторую неделю стоят.

— Чья банда?

— Шут их разберет. Хохлы какие-то полтавские... И с белыми дерутся, и красным спуску не дают.

Васька, скроив пристрашную рожу, пропел с пригнуской:

Ох ты, яблочко,  
Ананасное,  
К ногтю белого,  
К ногтю красного...

— Так, что ли? — спросил он.

— Во, во! — обрадованно просветлел мужик. — В станице потребиловку расчудесили... Сахар, мыло, свечи, керосин, все народу даром роздали, себе только топоры да хомуты забрали. Хорошая банда, народ убогаторяет.

Распрощались с мужиком и по распаханному полю напрямик поперли к маячившим вдаль тополям. За разговорами и не заметили, как вышли к полотну железной дороги. Совсем рядом, около будки, увидели лакированный с желто-голубым флажком автомобиль.

— Стоп! — зашипел матрос. — Ложись... Штаб ихний, или разведка.

Залегли и, после короткого совещания, прикрываясь насыпью, поползли вперед.

В Максиме кровь стыла, ноги путались, в груди билось большое — в пуд — сердце.

— Вася...

— Чшш...

— Вася, гибель наша...

— Отдала родная? — обернул матрос перекошенное злобой лицо. — Замри.

Подлезли еще ближе.

Васька осмотрел бомбу, вскочил и, подбежав к будке, метнул бомбу в окошко.

Взрыв

треск

пламя

из окна клубами повалил густой дым.

Матрос кинулся к радиатору.

Застучал мотор.

— Вались! — крикнул он Максиму, сам вскочил за руль.

Машина рванула, понеслась в горячем вихре, в кипящей пыли.

Максим от страха и удивления долго не мог ничего выговорить, потом нахлобучил шапку, откинулся на мягком сиденьи и захохотал:

— Почихают... Друг, угостил! Почихают!

Васька, припав к рулю, зорко смотрел на летящую встречу бешеную дорогу. Автомобиль шел ходко, виляя со стороны на сторону.

— Разобьемся?

— Никогда сроду.

— Чего она вихляется? Приструнь ты ее.

— Машина с капризами... Гоночная, фиат.

— Жми.

— Жму... Торопимся, как черти на свадьбу. Почихают, говоришь?

— Шарахнул, до горячего, поди, достало!

Догнали старуху. Она сбежала с дороги и нырнула было в канаву. Матрос затормозил, лихо остановил своего трепещущего катуна.

— Бабка, сюда.

Старуха подошла, кланяясь.

— Куда, бабуня, топаешь?

— Молочка зятю на пашню несусь.

— Молоко? — спросил Максим. — Давай.

Он отпил, сколько хотел, матрос dokonчил и, прищуриив лукавый глаз, с напускной строгостью спросил старуху:

— Сколько тебе?

— Да ничего, сынок, кушай на здоровье.

— Ну, на горшок.

Начали расспрашивать ее про дорогу. Она, заплетаясь с перепугу, принялась растолковывать:

— Дорожка ваша, родимые, прямым-прямышенька. Будет вам мост, за мостом Левченков юрт, то-бишь, не юрт, а греческа плантация... Мост, сыночки, в позапрошлом году от грозы сгорел, нету там никакого моста... Стоит при дороге хата казака нашего Петра Кошкина, сам он еще в холерный год помер, а сыны, толсты лбы, казакуЮт... Будет вам колодец при дороге...

— Вижу, бабуха, ты врать здорова, — перебил Васька. — Садись с нами, будешь дорогу показывать.

— Помилосердствуй, касатик. Мати пречистая, зять на пашне дожидается.

— Брось сопеть, — он сгреб старуху в охапку и подал ее Максиму. — Держи!

Машина, прыгая по ухабам, помчалась. Васька знай подкачивал, развивая скорость. Ветер плющил ноздрю, шумел в ушах. По сторонам подобно играющей реке стлалась степь. Пыль буйствовала за ними, как дым пожарища.

Далеко впереди оба увидели чумацкий обоз и не успели еще ничего сообразить, как испуганные взвившиеся на дыбы лошади промелькнули рядом и скрылись в крутящейся пыли.

За бугром блеснул церковный крест.

— Станица, крой мимо.

Васька к рулю — руль отказал. Васька к скоростям — скорости сорваны.

Хаты

улица

куры и утки — в стороны.

Максим крепко держался за борта. Старуха сползла с сиденья на дно кузова и беспрестанно крестилась. Так, на удивление жителям, прокатили они через станицу.

Матрос крутил руль, рвал рычаги, но машина не слушалась и стлалась, как птица в стремительном лете.

— Стой, дура-голова, — взмолился сомлевший от страху Максим. — Лучше пешком пойдем!

— Ты не беспокойся.

Дорога вильнула.

Машина, мотнувшись, чиркнула лакированным крылом о столб и покатились мимо дороги прямо по степи.

— Останови, пожалуйста.

— Чорт ее остановит, не кобыла! — Выказывая полную невозмутимость духа, Васька выпустил испорченный руль, закурил и повернулся лицом к Максиму. — Горючий выкачается, сама встанет.



В стороне показался и пропал хутор, немного погодя — другой. Машину валяло с боку на бок, из-под колес выметывались комья черствой земли.

Пересекли распаханное поле. На меже, упустив лошадей, стоял босой старик. От удивления он не в силах был поднять руки, чтоб перекреститься.

С большого разгона, ухнув, в широком веере брызг перелетели мелкую речушку. По глазам хмыстнули метелки камыша.

Донесся разорванный собачий лай. Впереди качнулся курган, за курганом шарахнулась потревоженная отара, и навстречу, вырастая в угрозу, начала быстро надвигаться новая станица.

Машина, сбочившись, промызгнула по косогору. Невдалеке, раскинув сухие руки, проплыли кладбищенские кресты. Под напором силы прущей рушились жердяные изгороди. Плетень был повален с сухим треском. В передних шинах спустили камеры. Автомобиль, оставляя рубчатый след на глубоких грядках огорода, замедлил ход, уткнулся мордой в глиняную стену хаты: от резкого толчка из навесной рамы вылетело зеркальное стекло, с Васьки слетела фуражка.

Выпрыгнули оба враз. Нехлыстанные ветром лица их были черны, а глаза полны дикого блеска.

— Номер! — скрипуче засмеялся матрос.

Максим облегченно выругался.

Из двора в огород заглянула девчонка, и, взвизгнув, пропала. Потом появился косматый мужик с винтовкой в руках. Увидав автомобиль, он стал в оцепенении.

— Здравствуй, дядя, — миролюбиво сказал Васька.

— Вы, товарищи, или как вас... чего тут?

— Извиняюсь, — сказал Васька и пошел-было к хозяину.

— Я тебе, туды-т твою, пальну вот в бритый лоб, сразу всю дурь выбью, — он принял на-изготовку и передернул затвором.

— Не смей, — крикнул Максим и вытянул перед собой руки, точно защищаясь. — Мы не с худом...

— Пошто хату тревожите?

— Извиняюсь, — повторил матрос тоном, полным сожаления, — я сам своей голове не рад. Приключился с нами полный оборот хаоса. Ты и сам виноват, зачем хату близко к дороге поставил? За нас, между прочим, ты можешь жестоко ответить. Завтра придут полчане и поставят тебя к стенке, а шкурой твоей, ежели догадаются, обтянут барабан.

Максим, видя, что перебранка грозит им бедою, плечом отодвинул речистого друга и, стараясь придать словам мягкость, обратился к хозяину:

— Почтенный, какое вашей станице название будет?

— А вы сами откуда? — попятился тот.

— Мы из города Кокуя, — сказал матрос и разразился похабной приговоркой, такой кудреватой да складной, что по угрюмой роже

мужика скользнуло подобие усмешки. Только сейчас он заметил, что гости безоружны, и опустил винтовку.

— Какая у вас, позвольте, в станице власть будет, кадетская или большевистская?

— Мы сами по себе.

— А все-таки?

— Я из-под Эрзерума недавно возвернулся и порядков здешних не знаю.

— Какой части?

Фронтовик затверженно назвал номер корпуса, дивизии и своего полка.

— 132-го Стрелкового? — обрадовался Максим. — Да-к, боже ж ты мой, я сам солдат турецких фронтов... Под Мамахутуном полк ваш, ежели помните, резервом к нашему стоял, потом к левому флангу примкнул... Да-к я ж и комитетского председателя вашего, ну его к чорту, дай бог памяти... Серомаха знавал.

Мужик перехватил винтовку в левую руку, а правую — жесткую и корявую, как скребница—протянул сперва Максиму, потом Ваське.

— Честь имею... Лука Варенюк.

Тем временем на огород со всего курмыша набежали люди. Первыми прискакали востроглазые мальчишки, за ними — лускающие подсолнушки бабы, приплелся поглазеть на диво и старый казак Дыркач.

Васька отжал хозяина в сторону и, играя карим с веселой искрой глазом, сказал:

— Купи.

— Кого?

— Автомобиль.

— Шутишь?

— Никак нет.

— На што он мне?

— На базар ездить будешь, в гости к своякам, а когда вздумашь, и бабу покатаешь.

— Ты его откуда добыл?

— Угадай.

— У комиссара угнал?

— Никак нет, у гайдамаков отвоевал.

— Ей, эдакой чертовинной, править надо уметь!—усмехнулся Варенюк и почесал поясницу.

— А мы, ты думаешь, умеем? Да ведь доехали! Плохо ли, хорошо ли, а доехали!.. — Увлечшись своей мимолетной выдумкой, матрос подвел его к машине. — Хитрости тут, доложу я тебе, мало. Гляди, вот эту штуковину подвернуть, этот рычажок поддернуть — и пошла-поехала.

На Ваську во все глаза смотрели бабы и понимающе качали головами. Дыркач подогом поколотил по шине и сказал:

— Колеса одни чего стоят, чистая резина... Эдаки колеса да подбричку, картина...

— Картина первый сорт, — подтвердил матрос.

— А чего же вы, товарищи или как вас там, не по дороге ехали?

— Мы-то? Мы, милый человек, сами с злого похмелья. Нас тетка везла, она и напутала. Э, мать, жива?

Из-под сидений раком выползла и, озираясь, поднялась старуха.

Мальчишки запрыгали от удовольствия, бабы ахнули и теснее обступили машину.

— Господи Иисусе, — закрестилась старуха. — Где я?

— Купи, — рассмеялся Васька, — совсем и со старухой. Задешево отдам!

— Ратуйте, православные! — завопила та, и, задрав юбки, полезла через борт. — Продает, как мешок кукурузы.

— Мешок, не мешок, а полмешка стоишь.

— Штоб у тебя, у беса, язык отсох... Православные, далеко ль до станицы Деревянковской?

Толпа развеселилась:

— Слыхом не слыхали.

— Куда тебя занесло, матушка?

— До Деревянковской, — усмехнулся в бороду Дыркач, — до Деревянковской, баба, верстов сто с гаком наберется.

— Батюшки, царица небесная, завезли окаянные... Зять-то меня на пашне заждался.

— Не кричи, — строго сказал Васька. — Куда тебе торопиться? Дойдешь потихоньку.

— Кобель полосатый, — наступала она, распустив когти. — Зенки твои бесстыжие выдеру.

Оробевший Васька пятился... Потом он протянул старухе пучагу мятых керенок:

— Получай за храбрость. Купи козу, садись верхом и скачи домой.

Восхищенные матросским острословием завизжали мальчишки, закатывая под лоб глаза, довольным смехом рассмеялись бабы, и старый казак Дыркач залился кудахтающим смешком, точно мучительной икотой...

Варенюк обошел машину, пощупал кожаные подушки сиденья, поковырял ногтем шину и пригласил гостей в хату, а остальным сказал:

— Разойдись, добрые соседюшки... Люди притомились с дороги, пора им отдых дать.

— Сколько хотите взять? — спросил Варенюк, останавливаясь перед входом в хату.

— А сколько тебе, односум, не жалко? — в свою очередь спросил Максим, принимавший весь торг за шутку.

— Нет, — шагнул хозяин через порог, — вы скажите свою цену.

Оставшись ненадолго наедине, Максим с Васькой схлестнулись спорить. Максим домогался поскорее пробираться в город, заявить об автомобиле совету, разыскать свой отряд. Васька настаивал на том, чтобы задержаться в станице на несколько дней, — ему хотелось отдохнуть, погулять и вволю выспаться.

Варенюк возвратился с самогонкой. За столом, уставленным закусками, он долго еще рядился с моряком и, наконец, срядился. За автомобиль хозяин брался поить обоих гостей допьяна и кормить доотвала столько времени, сколько они пожелают, после чего обещался отвезти их на станцию, до которой было верст пятнадцать.

Ударили по рукам.

Хозяин заколол поросенка, засадил в баню за самогонный аппарат дочь Парасю, сыну Паньку приказал подтаскивать сестре ржаную муку, жена растопила печь и занялась стряпней.

В задушевной беседе они скоротали остаток дня, а когда наступил вечер—ярко запылала лампа-молния, на столе появилось жареное и вареное, по настоянию Васьки хозяин пригласил двух вдовушек, закрыл уличные ставни на железные болты, запер ворота, и веселье началось.

Васька краснословил без умолку. Шутки-прибаутки сыпались из него, как искры из пышущего горна. Максим с Варенюком пустились в воспоминания фронтовой жизни. Вдовушки на приволье разошлись во-всю. Подперев разгасившиеся щеки могучими руками, пронзительными голосами они распевали песни о радостях и горестях любви. Моряк, не переносящий бабьего визга, затыкал певуньям рты то кусками жареной поросятины, то поцелуями. В танцах он завертел, умаял вдовушек до упаду, потом вручил одной гребешок, другой — сковороду:

— Играй, бабы! Сыпь, молодки! Без музыки в меня пища не лезет.

Давно спала задавленная ночью станица; давно хозяйка, выметав из печи все до последнего коржа, забрала ребятишек и ушла в чулан спать; давно угоревшую от самогонного чада Параську сменила сестра Ганка; давно заморился таскать мешки Панько, и давно уже, сунув шапку под голову, спал на лавке Максим, а Васька все еще пожирал поросятину, бросая кости грызущимся у порога собакам; все еще плясал, выкомаривая замысловатые коленца; все еще глохтил, расплескивая по волосатой груди, самогонку — аппарат не поспевал за ним: за ночь хозяин, проклиная белый свет, два раза разматывал гаманок и посылал Паньку в шинок. Бабы осипли от смеху — матрос или лапал их за самые нежные места, или рассказывал что-нибудь потешное. И только под утро, высосав досуха последнюю бутылку, изжевав и расплевав последнюю ногу полупудового поросенка, Васька в последний раз на выплясе топнул с такой удалью, что из лопнувшего щиблета выщелкнулись сразу все пять обросших грязными ногтями пальцев...



— Баста! Спать, старухи!

Пьяненькие вдовушки набросили на головы ковровые полушалки...

— Куда? — спросил матрос, сыто рыгнув.

— Спасибо за компанию, пора и честь знать.

— Ах, оставьте. Эти песни соловьиные слышал я однажды в тихую зимнюю ночь.

— Нет уж мы, пожалуй, лучше пойдем, — сказала одна, оглядывая себя через плечо в зеркало.

— Пойдем, Груняшка, — как эхо отозвалась другая. — Все мужчины подлецы.

— Птички, — нежно глядя на них, сказал Васька. — Серый волк вас там сгребет, и достанутся мне одни горькие рыданья... А я по природе парень веселый и плакать не желаю! — Он привернул в лампе свет, втокнул за перегородку в комнатушку сперва одну, потом другую, зашел за ними сам и, прихлопнув жиденькую дверку, защелкнул крючок.

... Солнце через окно так нагрело Максиму голову, что ему начал сниться какой-то путаный, дурной сон. Бежал будто он по горячей земле, под ногами с жарким треском лопались раскаленные камни. Он поднялся на лавке и, стряхнув сонную одурь, стал прислушиваться... Далеко и близко на разные голоса пересмеивались петухи, залиристо лаяли собаки, над неприбранным столом жужжали мухи. Полон смутной тревоги, он накинул шинель и вышел во двор по нужде.

В вышине разошлась шрапнель. Бродившие по двору куры, распластав крылья, кинулись под сени. На улице послышался топот. Невдалеке кто-то закричал благим матом. Железным боем заклекотал пулемет.

Максим выглянул за ворота.

По улице, точно бурей гонимые, бежали и скакали люди в одном нижнем белье. У иного в руках была винтовка, у иного — седло, за иным волочилась шинель, надетая в один рукав.

Страх сорвал Максима с места.

Он ударился вдоль плетней с такой резвостью, что вскоре начал обгонять других.

Два офицера выкатили из-за угла каменного дома пулемет и, припав за щиток, начали засыпать бегущих смертью.

Улицу вмиг будто выдуло.

На дороге остались убитые и подстреленные.

Максим плечом высадил калитку... Пометавшись по пустынному двору, нырнул в конюшню и зарылся под сено, в колоду.

Скоро послышались резкие, ровно лающие, голоса и звяканье шпор.

Максим чихнул от попавшей в ноздрю сенины, его выволокли из конюшни.

Сизым острым огнем переблестнули штыки.

— Я не здешний! — крикнул Максим, хватаясь за штыки.

Прапорщик Сагайдаров саданул его прикладом в грудь и сказал:

— Сволочь, я тебе покажу...

Максим ушал. Это и спасло его — колоть лежачего было и неудобно, и неприятно.

Пленных набрали большую партию и повели расстреливать.

По улице в исключительно беспомощных, присущих только мертвым позах валялись убитые. Раненые расплзались под заборы. Кровью было смочено их заношенное белье, сверкающая кровь свертывалась в пыли.

В станицу вступал обоз.

На рессорной бричке, вольно распахнув светло-серую шинель, сидел ссутулившись седой полковник, пепельное лицо которого показалось Максиму знакомым... Еще не припомнив, где его мог видеть, он разорвал кольцо конвоя и кинулся к старику:

— Ваше... заступитесь!

Неожиданность испугала полковника. Он откинулся на сиденьи и крякнул, как селезень:

— Ак? Что такое?

— Ваше высоко...

Кучер остановил.

— Что такое? — старик запрокинул голову и оглядел солдата. — Откуда ты меня, это самое, знаешь?

— Так точно, признаю, ваше высокоблагородие, господин полковник.

— Кто такой?

— К Тифлису в одном поезде и в одном вагоне ехали... Я еще вашему высокоблагородию чулки шерстяные подарил.

Старик опустил голову и задумался.

Максим стоял, вцепившись в передок брички. Штык справа и штык слева касались его ребер.

Полковник так долго думал, что Сагайдаров осмелился и нетерпеливо кашлянул:

— Прикажите вести?

— Ак?... Вспомнил, вспомнил каналью... Старший по конвою! Оставьте солдата мне, я его, это самое, лично допрошу. Захвачен с оружием? Нет? Отлично.

Кучер хлестнул по лошадям. Максим, держась одной рукой за крыло брички, побежал вслед.

Остановились перед зданием школы.

Максим с большой расторопностью принялся распрягать лошадей, при чем каждую из них награждал такими ласковыми именами, которые не часто доводилось слышать от него и жене Васене. Потом он поставил лошадей под навес, навалил им сена, перетаскал с возов в дом чемоданы и, покончив все дела, явился к полковнику, который сидел в классной комнате за партой и разбирал бумаги.

— Большевик, сукин сын? С нами, это самое, воюешь?

— Никак нет, ваше высоблагородие, я не здешний.

— Как же сюда попал? Большевик, каналья?

— Никак нет, ваше-ство, корову приехал покупать.

Полковник наклонил голову так низко, что нос его почти касался исписанных лиловыми чернилами ведомостей. Он вздохнул, пожевал серыми и тонкими, как бечева, губами:

— Помню твою услугу, помню... Солдатики, суконные рыла, насолили мне тогда крепко... Пожалуй, они меня и уколошили бы? А?

— Так точно, ваше высокоблагородие, разбалованный народ.

— Как пить дать, уколошили бы, мерзавцы.—Он смахнул слезинку, высморкался на пол и взглянул солдату в глаза. — Ты, братец, желаешь, это самое, послужить родине?

— Рад стараться, ваше-ство, службу люблю.

— Отлично. С сего числа зачисляю тебя на довольствие и прикомандировываю ездовым в обоз второго разряда. Разущи на дворе подхорунжего Трофимова и с моего разрешения попроси у него шинель с погонами и ефрейторские нашивки.

— Слушаю, ваше...

— Да, это самое, раздобудь-ка мне кислого молока... Здесь покушать и с собой в дорогу возьмем.

— Рад стараться, ваше высокоблагородие, доставлю!

Старик дал ему на молоко керенку и отпустил, оставшись весьма довольным молодцеватой выправкой старого солдата.

Максим нашел во дворе подхорунжего, наскоро переоделся и со всех ног бросился по улице, держа направление к знакомой хате.

В воротах его встретила плачущая хозяйка и ахнула:

— Батюшки, в погонах?

— У нас это просто, — весело отозвался он и покосился на окна.— Я тут знакомого генерала встретил. А к вам заехал кто-нибудь?

— Бог миловал.

Максим смело вошел во двор.

Варенюк под сараем забрасывал автомобиль соломой. Увидав гостя, он бросил вилы и подошел:

— Беда... Не дай бог...Комиссар, скажут, спалят.

— Ты бы заступился, милостивец, — зашептала баба. — Куда ее девать, под подол не спрячешь...

— Будьте спокойны, — ответил Максим. — Скоро выступаем. Где мой товарищ?

— Забери ты его, матершинника, Христа ради. — Баба вошла в хату и остановилась перед печью. — Найдут его кадеты и нас на дым пустят.

— Будет тебе вопить,—прикрикнул на нее сам.—Придержи язык.

— Где он? — спросил Максим в недоумении, оглядывая пустую хату.

— В трубу, сердешный, забился.

— Куда?

— Вона куда,—показала хозяйка.

Максим, изогнувшись, заглянул под чело печки, но ничего не увидел.

— Вася, — зашипел он. — Где ты, друг?

— Братишка... (Матюк.) Отогнали белокопытых? (Матюк.) — Глухо, как из могилы, отозвался Васька, и в густом потоке сажи на шесток опустились его босые ноги.

— Лезь назад, — сказал Максим. — Я в плен попался и бегаю вот, ищу кислого молока, но ты, Вася, во мне не сомневайся.

— Какого молока? (Матюк.)

— Лезь выше, Христом-богом прошу, лезь выше. Скоро выступаем. До свиданья. — Он потряс друга за пятку и выбежал из хаты.

Возвращался Максим, обняв горшки, и, боясь упасть, вышагивал, как журавль, высоко поднимая ноги.

Стрелковые части, передохнув и закусив, уходили на станицу, в просторы степей. В полдень выступил обоз. Максим сидел на возу на горячих хлебах, во всю глотку орал на лошадей и нещадно нахлестывал их витым кнутом.

Армия втянулась в поход.

О России и об идеях говорили только штабные да обозники. Стрелковые части были целиком поглощены мелочами боевой жизни: кто пойдет в голове, кто в хвосте; когда и где удастся отдохнуть и выстирать белье; будет ли на привале горячая пища; по сколько выдадут патронов? Самые беспечные умудрялись заводить романы с беженками, сестрами или с молодницами на коротких стоянках.

Николай уже командовал взводом. Его возвращение в строй было скромно отпраздновано в тесном кругу соратников.

Корниловский полк был молод и хотя историю свою вел с империалистической войны, но по-настоящему сформировался только на Дону под большевистским огнем: выведенный с австрийского фронта кадровый состав полка почти целиком погиб при переходе через Украину и в боях за Ростов и Новочеркасск. Ставленник и любимец Корнилова—молодой полковник Неженцев—за самое короткое время сумел подобрать себе образцовый комсостав, при содействии которого полк и был сколочен в железный кулак. Всем, от мала до велика, было внушено, что Корниловский полк—лучший полк. В этом духе воспитывались и пополнения. Новичок за какую-нибудь неделю службы настолько сживался со «старичками», что его невозможно было сманить в другую часть даже обещанием повышения в чине. В армии был привит и всеми мерами раздувался дух соперничества. 1-й офицерский полк с завистью следил за молодецкими действиями юнкеров, студенты соревновались в ратных доблестях с гимназистами, марковцы упорно оспаривали первенство у корниловцев. За выполнением каждой боевой задачи следили не только прямые начальники, но и все добровольные



соискатели славы: сохрани бог, ежели дружный хор этих строгих критиков уличал кого в том, что они «петрушку показывают».

Полку на выучку были приданы несколько юнцов. Они несли главным образом разведывательную и сторожевую службу, хотя не уклонялись и от боев. Во взвод Николая достался расторопный гимназист Щеглов и оправившийся после ранения кадет Юрий Чернявский. Последний особенно привязался к своему командиру и не отходил от него ни на шаг. Он перенял от офицера манеру носить фуражку, щурить глаз на дым папиросы, старался подражать ему в походке и разговоре; на досуге с налетцем удальства посвящал взводного в свои сердечные дела или упрашивал рассказать о подвигах. Николай любил его слушать, потому что видел в нем себя в более счастливую пору жизни.

Они сдружились.

Чернявский, левофланговый первой шеренги, шагал в ногу со взводным и негромко расспрашивал:

— Николай Александрович, возможно ли так отличиться, чтоб сразу получить Георгии всех степеней?

— А тебе очень хочется отличиться?

— Ну да.

— Какой же подвиг свершить ты намерен?

— Не знаю... Горю желанием доказать свою любовь России и заслужить вашу похвалу. Ну, я могу первым броситься на штурм большевистской крепости, или, если представится случай, — клянусь! — не пожалею взорвать целый поезд с комиссарами.

Николай смеялся и рассказывал об уставе наград.

Кадет хмурился:

— Мало в нашем походе героического... Грязная работа, вши, недоеданье, недосыпанье, да что там, у меня ноги посбились до мослов... Я не такую представлял войну, совершенно не такую.

Он говорил правду.

В боевой страде было мало разнообразия... Серая степь, курганы, по горизонту маячили охранительные раз'езды. Потом — стрельба, в частях — движение, в обозе — паника. Навстречу колоннам, пришпоривая коней, мчалась разведка, к свите командующего подлетал конник.

— Ваше превосходительство... Станица... Два полка противника... Легкая батарея...

Хмурый Корнилов, не поднимая глаз, перебивал:

— Выбить.

Скакали картинные ординарцы. Командиры, откозыряв, бежали строить полки для атаки.

Станица встречала освободителей хлебом-солью и колокольным звоном. Бабы разводили по хатам и отпаивали молоком раскрасневшихся от волнения людей. На площади кто-нибудь из начальства, чаще всего Корнилов или Алексеев, говорили станичникам краткую речь,

после чего тут же, перед общим сбором, бородатые казаки пороли провинившихся сыновей и внуков, потом победители наскоро под музыку хоронили своих убитых и, переночевав, выступали.

Опять степь, курганы, пыль, духота.

— Ваше превосходительство, впереди станица, справа хутор, замечено скопление большевиков...

— Выбить.

Прямая цель была близка. До Екатеринодара оставалось не больше четырех переходов — там отдых и подготовка к дальнейшей борьбе. К начальствующему над войсками Кубанской рады, штабс-капитану Покровскому, была выслана разведка с приказом командующего: «Держать город».

Армия сбивала по пути плохо организованные отряды противника и решительно продвигалась вперед.

Под станицей Кореновской победное шествие неожиданно затормозилось.

Красное командование выставило на защиту станицы отборные отряды фронтовиков и горящую отвагой молодежь.

Бой загрохотал с раннего утра.

Фронт развернулся от станицы на обе стороны. Пальба сливалась в сплошной гул, заглушала крики команды. Тысячи людей летели в круг смерти, как щепки в пламя. В строю никто не осознавал непрерывности огневой линии,—человек ловил на мушку человека, рота выглядывала перед собой противную роту и, сосредоточивая на ней все внимание, стремилась с предельной скоростью уничтожить ее.

Корниловцы цепями двигались вдоль полотна железной дороги, имея справа от себя юнкеров и слева — офицерский Марковский полк. Марковцы, пользуясь неровностями поля, дружно наступали, заламывая фланг красных. Казалось, еще момент и — решительный удар во фланг, выход в тыл красным... Бронепоезда во-время заметили опасность и перекинули на офицеров ураганный огонь.

Марковский и Корниловский полки дрогнули, начали пятиться... Тогда на бугре показался, четко вырисовываясь на фоне синего неба, командующий, окруженный штабными генералами и конвоем текинцев. Отступавшие быстро оправались и — в рост, не сгибаясь — пошли вперед.

Стреляя непрерывно, цепи сблизилась сажень на сорок и залегли. Бронепоезда вынуждены были прекратить огонь.

Николай со взводом лежал в передовой цепи. Вдавлив грудь в землю и спрятав голову за кочку, он вдыхал горячий приторный запах полыни. Встречный пулемет широким веером сыпал на сухую землю крепкий град: глаза запорашивало пылью, за отторбученный ворот гимнастерки брызгал песок, точно кто стоял впереди и поплеывал колючими плевками. Бок-о-бок со взводным лежал кадет и немного подальше — Казимир. Низко, как тень, промелькнул — или Николаю показалось, что промелькнул — снаряд: вихрем взметнуло волосы на голове, он догадался, что фуражка потеряна.

Казимир охнул.

Николай, не поднимая головы, скосил глаза в его сторону и увидел, как тонкие слабеющие пальцы распрямлялись на прикладе.

— Убит? — окликнул он.

— Нет, в плечо, — еле слышно пошевелил Казимир побелевшими губами и выругался.

От больших перебежек и волнения люди задыхались, а потому, когда была подана команда: —

— Приготовсь к атаке...

И с другой стороны:

— Цепь, вперед!

— цепи поднялись молча в один и тот же миг.

Стрельба захлебнулась.

С винтовками на-перевес, на ходу подравниваясь для удара, цепи сближались в холодном блеске штыков.

Николай видел перед собой парней в городских пиджаках, солдат в распахнутых шинелях, на открытых грудях моряков различал густую татуировку. Глаза у всех были круглы, зубы оскалены, немые рты сведены судорогой.

Минута равновесия...

В штыковой атаке секрет победы — кто лучше сумеет показать штык.

Офицеры показали штык тверже.

Красные откатнулись, побежали... Лишь матросня и немногие старые солдаты приняли удар.

Все перемешались, как стая грызущихся собак. У кого не было штыка, тот глушил прикладом. Блистали вспышки револьверных выстрелов. Короткие вскрики мешались с рычанием и отрывистыми словами ругательств. Низенький коренастый матрос, поддевая на штык, кидал офицеров через себя, точно снопы.

Николай участвовал в рукопашной в первый раз, но с задачей справлялся хорошо: колот в два приема, как когда-то на ученье соломенные чучела. Скоро, выбившись из сил, бросил осопливевшую от крови винтовку и принялся стрелять из маузера в согнутые спины, в волосатые затылки.

Издалека покатались, нарастая, крики:

— Кавалерия!.. Давай, дава-а-ай!..

С пригорка, развернувшись и оставляя за собой завесу пыли, карьером спускалась сотня Кочубея. Коня, приложив уши и распластавшись, летели, точно не касаясь земли. Всадники лежали на шеях коней, полы черкесок бились над ними, как черные крылья, а выкинутые над головами шашки сверкали, подобны гневу.

— Огонь!.. По кавалерии!..

Молодой Кочубей, повернувшись к своим казакам, пронзительным голосом завизжал:

— Рубай с намёту!

— И первым ворвался в гущу офицеров, работая тяжелой дедовской шашкой.

Глухое:

— Ура...

ааа-аа...

Хлест и хряск, стон и взвизг стали, скользнувшей по кости.

Роты офицерские, построившись ежиком, поспешно отбегали, расстреливая последние патроны, теряя раненых и убитых. Один отбившийся взвод марковцев был затоптан конями и вырублен начисто.

Сражение перекинулось в центр.

Из-за станицы в разрывах ветра доносился слитный барабанный бой и хватающие за сердце резкие рожки горнистов, играющих атаку. Юнкера дважды врывались в улицу, но оба раза были с треском выставлены, и лишь после полудня объединенным ударом станица была взята.

По степи—разметаны расстрелянные гильзы, патронташи, осколки стали, грязные портянки, окровавленные тряпки и скрюченные остывшие трупы.

В станице несколько домов были переполнены ранеными. В раскрытые окна неслись крики и рыдания наспех без хлороформа оперируемых. Врачей и сестер не хватало.

Николай разыскал друга. Переодетый в чистое белье, Казимир лежал, утопая в перине. У изголовья плакала, надвинув на глаза белую косынку, Варюша.

— В кость? В мякоть?

— Пустяки, не беспокойся, — прошептал раненый и скривил губы в усмешке.

Николай поклонился Варюше.

— Пуля попала ниже ключицы, — с скорбной улыбкой сказала она, — задела верхушку легкого и вышла под лопатку.

— Вчера — я, сегодня — он, мы поменялись ролями.

Два казака внесли и положили на пол храпящего в беспамятстве есаула. Одно его ухо вместе с лоскутом щеки было ссечено, из обрывка рукава торчала сочащаяся алой кровью, отхваченная выше локтя, рука: от линии обруба кожа вздернулась на полвершка, осколки белой кости были обнажены. Варюша оправила косынку и, подойдя к искалеченному есаулу, принялась его перевязывать.

Николай рассказал о заключительных сценах атаки.

— Значительны ли наши потери? — спросил раненый.

— Весьма. Еще несколько таких боев, и от армии останутся рожки да ножки. Нелепость положения в том, что, связанные обозом, мы лишены возможности маневрировать. У нас нет тыла. Мы во что бы то ни стало должны все время побеждать, — даже один единственный проигранный бой явится для всех нас гибелью, поголовным уничтожением.

— Дурная игра...



— Да, шансы на выигрыш призрачны... Но что же делать? Необходимость толкает продолжать игру до последнего патрона. Судьбе, видимо, угодно за горе и позор России расплатиться нашими головами...

Долго молчали.

Желая развлечь друга, Николай снова возвратился к описанию атаки:

— Летит, понимаешь, и прямо на меня. Борода—во! Пасть—во! Глаза по кулаку, через щеку рубец... Я ему прямо в морду щелк, щелк... Что за чорт, думаю, осечка? Щелк, щелк, ну — пропал, конец... И только уже после боя сообразил, что в маузере-то у меня ни одного патрона не оставалось. Спасибо этому моему Санчо-Панчо Чернявскому, ссадил разбойника, а то бы... — Свистнул, и радостная дрожь брызнула по спине.

Казимир спал, сжав поблекшие губы.

Подошел молодой врач. Дряблое лицо его было мокро от пота.

— Доктор, ради бога, как поручик?

— Ерунда, через две недели поставлю на ноги.

Николай крепко пожал ему клейкую от крови руку.

Еще накануне штаб имел тревожные сведения об Екатеринодаре. В Кореновской было получено достоверное сообщение о том, что Кубанская рада и ее ставленник Покровский без давления большевиков покинули город и ушли за Кубань в горы.

Ошеломляющая весть взбесила одних, угнетающе подействовала на других. Рухнула надежда на отдых и на изменение общей обстановки в более благоприятную сторону. Продвижение вперед теряло всякий смысл: если бы город и удалось захватить, то с имеющимися силами его невозможно было удержать.

Гонимая страхом армия повернула на юг, прорвала кольцо красных под Усть-Лабинской, проскочила через Кубань и сожгла за собой все переправы.

(Продолжение следует)

---